

С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Григорий Поженян:

Март - 1993 - 8 мая - С. 1

«Нам общая слава России солдатской наградой была»

В НАЧАЛЕ войны, в 1941 году, когда Одесса умирала не только от жестоких боев, но и от жажды, группа из 13 моряков-десантников получила задание захватить у немцев насосную станцию и пустить в город пресную воду хотя на несколько часов. На задание это шли добровольцы, потому что вернуться назад шансов не было.

Одесса получила воду. Разведчики погибли. А на доме по улице Пастера, где они жили недолгое время, после войны повесили мемориальную доску с их именами.

Григорий Поженян выжил. Он прошел еще целую войну, которая, как ни странно это звучит, сделала его не только героем, но и поэтом. И все же наш разговор мы начали с той невероятной истории, где все должны были погибнуть.

— Но погибли не все. Остались в живых Аннушка, Арсен и я. Уцелел еще один человек. Он был ранен и не ходил с нами в эту разведку боем. Это командир нашей разведгруппы Николай Горчаков. Потом он попал в плен. А в 1947 году я получил письмо, в котором он просил прислать письменное подтверждение всех наших общих разведывательных дел, заверив его в парткоме. Он восстанавливался в партии и обращался ко мне не только как к уцелевшему разведчику его группы, но и будучи уверен, что я коммунист. Я его очень огорчил, что никогда не был членом партии. Но характеристику, конечно, послал.

— Вам никогда не предлагали вступить в КПСС, Григорий Михайлович?

— Во-первых, я сын врага народа. И когда мне предлагали подать заявление, я всегда отвечал: а папа? Когда с папой решите вопрос, тогда я вступлю в эту организацию. А пока буду единственным беспартийным командиром разведки. И никогда не вступал в КПСС. Комсомольцем был. Но был исключен из комсомола в 1948 году своими близкими друзьями — теперь знаменитыми писателями. Они все, кроме Юрия Трифонова, подняли руки за исключение. Причем среди прочих идиотских формулировок была такая: «За небрежное хранение комсомольского билета».

— Что это означает? Вы его потеряли?

— В том-то и дело, что нет. Всю войну я носил билет то в подметке, то еще в чем-то. Он был в госпиталях, где я лежал, три раза раненый и тяжело контуженный. Я ведь был почти во всех десантах на Черном море. С этим билетом я и при-



ехал в Литинститут.

— В чем же небрежность хранения?

— Вид у него, конечно, был ужасный. Понятно, где только не побывал мой комсомольский билет за всю войну. Когда мы шли в разведку, то сдавали билеты, оставляя при себе единственное удостоверение личности — «смертный» медальон.

— Ваша разведгруппа — какое время вы были вместе?

— Должен сказать, что в разведке почти 100-процентная смертность. Поэтому состав все время меняется. В конце августа мы высадились в Одессе, а в конце сентября уже... умерли.

— А когда вы узнали, что в Одессе есть мемориальная доска, где в списке погибших значится и Григорий Поженян?

— Примерно в 1947 году, и совершенно случайно. Я приехал в Одессу собирать материал для сценария фильма «Жажда», и кто-то спросил — нет ли у меня родственника Григория Поженяна? А то, говорит, на улице Пастера доска висит, что он погиб.

Я пошел туда один. Потому что не знал, что со мной будет,

[Окончание на 2-й стр.]

Каменный Гость

«Глухой сказал — послушаем, слепой сказал — посмотрим, немой — поговорим».

Присказка как бы воспроизводит нынешнее противостояние в российском обществе. В пылу разгоревшейся схватки оппоненты спорят, не беря, в общем-то, в расчет никакие аргументы другой стороны. Особо это проявляется в столице, и явно затянувшийся поединок в верхних эшелонах власти рано или поздно должен был привести к взрыву. Неумение вести цивилизованный диалог, дискуссию, по-человечески объясниться обернулось шоком первомайского столкновения.

Мы дождались того, что казалось просто невыносимым.

В Москве? Да такое? Типично вам на язык!..

Где-то там, далеко-далеко — да, было и есть. Список известен: Фергана, Душанбе, Тбилиси, Баку, Сухуми, Карабах, другие места, где поначалу мирные шествия и митинги перерастали в яростные перепалки, драки, а потом — в военные действия со всеми из них вытекающими кровавыми последствиями, гибелью тысяч ни в чем не повинных людей...

И вот мы увидели своими глазами, глазами телекамера (они при всем желании не соврнут), как легко и просто демонстрацию превратить в разъяренную, неуправляемую толпу. Неуправляемую? Ой ли?

Не раз в речах лидеров сторонников социалистического выбора мелькали слова «дружинны» или «отряды», не говоря о грозном — «фронт». Дружинны эти (а проще, привычнее, понятнее — боевики) проявили себя превосходно! Как умело раскалили они милицмейские цепи, выдергивали из них совершенно не готовых к жестокому нападению молодых рядовых и сержантов, отбирали щиты, срывали шлемы и — били. Профессионально, без намека на пощадку, жалость.

Убедите меня, пожалуйста, что подонки, лихо гонявшие грузовики в обезумевшем снопище людей, — это мирные ребята, а их жертвы — так, пустяки. Но омовец-то Володя Толонеев умер не понарошку, а взаправду.

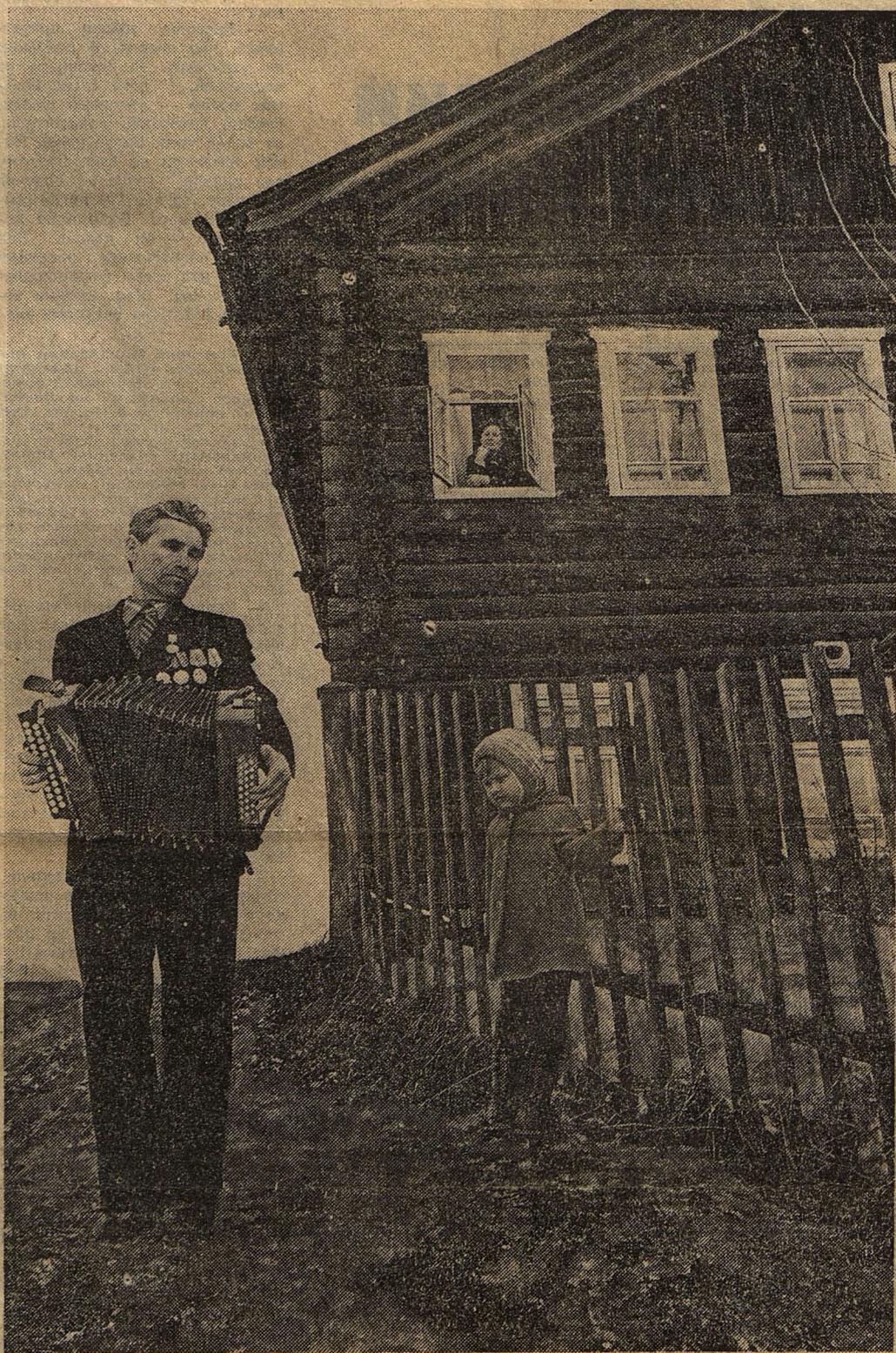
Убедите меня, что заточки, лыжные палки, арматура, подшипники... ну совершенно случайно очутились в крепких руках недобрых молодцев.

Убедите меня, что камни, летевшие из толпы, — бутылочные.

Ах, знакомо нам, в буквальном смысле — до боли — знакомом нестареющее оружие пролетариата, страшный гость из прошлого. По горькому опыту скульптурному герою Ивана Щадра поменять булыжник на автомат — дело плевое. И не ограничится дело ссадинами и переломами...

...Ну а власти? Умение предвидеть — едва ли не главное в политике. Умения этого как раз не хватило.

Запретить — разрешить, опять — запретить, потом опять — разрешить. Туда — сюда... Неужели трудно было предположить, что заранее подогретая и заведенная толковыми агитаторами демонстрация не остановится перед жидким заслоном и что двусторонний



Поколения. Дай-то Бог младшим не познать тягот военного лихолетья.

Фото Павла КРИВЦОВА.

когда я увижу их имена... Должен сказать, в Одессе мне бывать всегда сложно. По сути дела, я этого города толком и не знаю. Хотя говорят, что я одессит — почетный гражданин Одессы. Это неважно, а важно то, что я стараюсь никогда не ходить там, потому что все больно, все горько, все несправедливо.

В красном сне, в красном сне, в красном сне бегут солдаты, те, с которыми когда-то был убит я на войне...

— Стихи о войне вы начали писать уже после войны?

— Ни до войны, ни во время войны я просто не писал. Но я очень любил стихи! Помню, в госпитале я выменял свое флотское белье на штаны, чтобы можно было выйти, и пошел на вечер поэта Александра Коваленкова. Был такой хороший поэт, а может, и не очень хороший, но очень красивый. Он работал во фронтовой газете, а они все находились в центральных городах... Вообще около войны жить очень хорошо. Я потом узнал, что афганскую войну уже можно было давно закончить, если бы огромное количество людей не было заинтересовано в том, чтобы эта война длилась.

И каждый раз после госпитала я говорил себе: ну скажи, что ты воевал в зенитной артиллерии или еще где-то. Ну зачем тебе снова лезть в разведку? Ты же клялся себе, что это в последний раз, ты же договаривался с собой!

...Окольный путь не так уж прост.

Но, как ни грустно, мы знали, как не в полный рост шагнуть за бруствер. Как довернуть не до конца судьбы взрыватель. И отказаться от отца, признать: предатель. Как, отступая не в строю, прийти до срока. И пайку хлеба, не свою, взять ненароком...

Но каждый раз, когда я выходил, я снова писал: разведчик:

— А как практически можно было избежать этого, Григорий Михайлович?

— Ты выходишь из госпиталя. Можешь надеть другие штаны, найти другие документы, свои спрятать и сказать, что потерял. А тут идет война, не хватает людей прикрыть оборону где-то. Да тысячи вариантов на войне всегда есть. И все, кто был около войны, жили прекрасно. Я уж не говорю о контрразведке, которая следила за нами. У них были потрясающие блиндажи в три наката. А наши землянки делались «на соплях», любая маленькая мина сшибала все. Им же строили серьезно. Носили они диагональные штаны, кадрили девочек в медсанбатах.

И каждый раз интересовались: верю я в конечную победу или нет?

— И что же вы отвечали?

— Каждый раз, когда мы параллельно с ними строили свои

землянки, то первое, что я делал.

— ставил у медсанбата двух своих разведчиков. И когда кто-то из «особистов» пытался пойти в медсанбат, они говорили: внимание, стреляю! Тот бежал к командиру бригады с жалобой — Уголек (так меня звали) обнагел! Ставит своих людей! Командир спрашивал: а ты куда шел? — То есть ваши отношения с контрразведкой были, мягко говоря, непростыми...

— Здесь я должен рассказать главную историю. Не в смысле военных масштабов — взяли, захватили, убили, взорвали... А психологически главную.

В 1942 году мы отдали на Черном море все, что могли отдать. Причем все время пели песню: «Мы Одессу не сдадим — моряков столицу...» Потом: «Севастополь не сдадим — моряков столицу...». Так вот пели и наконец сдали все города на Черном море. Остались только

Григорий Поженян:

«Нам общая слава России солдатской наградой была»

Поти и Батуми. У меня к тому времени уже были ордена Красной Звезды и Отечественной войны, а кроме того — орден боевого Красного Знамени посмертно, о котором мне говорили, но я его еще не получал.

Мы отошли, точнее — сдали. Как странно было б знать тогда,

что будут нам ковать медали за отданные города...

А между тем бои ужесточались, немцы подступали к Москве. И из нас формировали морские бригады — из моряков, которым негде было воевать на море. Для нас началась самая страшная война. Мы ведь все-таки привыкли умирать в тепле. В тепле, должен сказать, умирать совсем по-другому...

Была тогда Кировская железная дорога — Мурманск, Кандакша, Лоухи, Беломорск. По этой дороге перевозили все, что шло по ленд-лизу из Англии, и немцы, естественно, пытались ее перерезать. Они уже подходили к станции Лоухи. Вот тогда и сформировали нашу 67-ю морскую бригаду. И бросили ее в снега. А были среди нас ребята, которые никогда не стояли на лыжах...

И вот однажды ко мне в землянку постучалась девочка Таня. А я был, честно говоря, совсем не по «этому» делу. Несколько неудачных романов после ранений, когда я ухаживал за медсестрами неловко и бездарно, — не в счет.

— Что такое? — спрашиваю.

— Уголек, спаси меня. За мной ухаживает начальник контрразведки — я топлю у него. Он старик, ему 35 лет...

— Ладно, — обещаю, — я с

ним поговорю.

(Медсестры по очереди топили печи у этих «героических» ребят из контрразведки). Значит, вызываю его на лыжню и говорю, что нехорошо, мол, так с Таней. Он возмущен: «Что такое? И вообще, кто ты такой?» Я: «Конечно, я глубоко извиняюсь, но мне придется вас убить, если что-то случится».

Потрясенный, он побежал к командиру бригады, Герою Советского Союза Москвину, человеку с большим юмором. Тот спрашивает: что, так и сказал, что убьет?

Майор: Так и сказал. Если что — убьет.

Москвин: И убьет. У него 75 человек и ребята все очень скоро в руку.

Замечу, что главная проблема у нас была — сходить в галюн, снега-то высокие. Короче, пошел этот майор по нужде, а его

Мусор - 1993 - 8 мая - с. 2

накрыли снегом — подшалили. Он понял, что это недобрый знак. Потом, через несколько дней — второй раз. Кто — неизвестно, ребята-то профессионалы все. И любить контрразведчиков им было не за что. Мы умирали, а они получали орден. Кончилось тем, что он покинул нашу бригаду под каким-то предлогом.

Девочка пришла ко мне и в благодарность принесла мое «личное дело». Оказывается, у них в землянке стояли наши дела. И всю войну, где б мы ни были и что б мы ни делали, за нами путешествовало наше «личное дело». Я открыл его. На первой же странице было написано красным карандашом: «Внимание! Сын врага народа Михаила Арамовича Поженяна». А я-то, наивный человек, думал, что я своими несчастными орденами заслужил печальную судьбу своего отца, что они мне верят. Ничего подобного! Это дело путешествовало за мной всю войну. И когда я демобилизовывался и адмирал Азаров не хотел меня отпустить, я попросил принести мое «личное дело». Оно к тому времени стало очень толстым, в нем было все — и та история, как я политрука бросил с катера в бурю (пенный след за кормой. — О. С.). Я тогда недолгое время плавал командиром «охотника», и был у меня на катере замполит, который на всех писал доносы. Про меня, например, что я пью с матросами. И вот во время десанта — нет замполита, бой идет — его нет. И только на обратном пути я обнаружил спящего политрука под тумбой штурманской рубки — на нерв-

ной почве уснул, бедняга. Я обвязал его веревкой и бросил в бурю. Потом вытащили, естественно. Рассказал я как-то эту историю в застолье писателям Стаднюку и Алексееву. Они, конечно, не поверили, что я был представлен к Герою Советского Союза, а из-за этого случая не получил этого звания...

А вот что пишет Иван Стаднюк в своей повести «Исповедь сталиниста» («Молодая гвардия», 1992 г., № 11—12): «...я стал убеждаться не только в том, что слышанное от Поженяна — сущая правда, но далеко не полная, обедненная. Вспомнил его «похождения» во время войны, адмирал Октябрьский иногда поругивал Гришу за былые излишние вольности: — Более хулиганистого и рискованного офицера у себя на флотах я не встречал! Форменный бандит!.. Я его представил и званию Героя Советского Союза... А он потом во время Эльтигенского десанта выбросил за борт политработника! Естественно, последовала жалоба в Военный совет.

Стали затевать трибунал. Но опомнились и ограничились тем, что ликвидировали представление к Герою...»

— Ну а как же все-таки пришли стихи, Григорий Михайлович?

— Война меня преследовала всю жизнь. Я всегда хотел избавиться от нее. Не оттого, что ноют раны, они у меня не ныли. Это теперь уже, когда я старею, конечно, дают о себе знать. А раньше я был боксер здоровый парень, когда вернулся с войны, мне было неполных 22 года. Не физически, а психологически давило ощущение какой-то вины перед всеми, ощущение несделанного...

...Я сам у себя оказался в плену, как будто вернулся с войны на войну, пытаюсь на скошенном поле косить, чтоб словом и делом друзей воскресить...

— А что с вашими родителями, Григорий Михайлович? Отец был репрессирован, а мама?

— Моя мама была врачом, хирургом. Она была маленькой женщиной и к тому же — трусихой. Но когда получила в 41-м извещение о моей гибели, ушла на фронт и до конца войны работала фронтовым хирургом. Вернулась с боевыми наградами.

Отец вернулся в 1954 году. Был реабилитирован. Мы жили в Харькове, и до лагерей он был директором Харьковского тракторного завода, потом директором НИИ, профессором, настоящим коммунистом с 1918 года. Но когда вернулся, восстанавливаться в партии не стал. Не хотел. А когда у мамы был первый инфаркт, он меня вызвал и

сказал: «Знаешь, мне надо помириться с советской властью, тогда мы получим квартиру и перевезем маму из больницы». И он помирился с советской властью, мы получили прекрасную квартиру. И все. На этом он закончился, потому что жил только на своем противостоянии. Мама вскоре умерла, я перевез отца к себе, и в одно из моих плаваний он выбросил слуховой аппарат, очки, лег, сложив руки, и когда я приехал, он посмотрел на меня глазами той птицы, которая так далеко залетела, что вернуться не может...

— Как они относились к вашим стихам?

— Мама мои стихи читала на всех вечерах в мединституте после войны. Единственное, до чего она не дожила, так это до моих песен, когда все пьяные пели: «Мы с тобой два берега у одной реки...».

А отец, он одни стихи не то чтобы любил, а понимал:

Если б душа отделилась от тела, сколько бы чаек ко мне прилетело. Сколько бы ласточек в окна влетало. Сколько б коней в дом тропу протоптало. Если б душа отделилась от тела, Я не ходил бы тайком на Пастера, в дом, где живут все друзья неживые, где не лежат и цветы полевые. Может, потом и случится такое там, за неведомой подземной рекою, на перевозе, где лодочник желтый знает, зачем и откуда пришел ты. Но на земле не случается чуда. Тот, кто погиб, не приходит оттуда. Были юнцами, не стали старше. Тех, что погибли, считаю храбрее. Может, осколки их были острее? Может, к ним пули летели быстрее! ...Дальше продвинулись. Дольше горели. Тех, что погибли, считаю храбрее.

Три строфы из этих стихов, кстати, выбиты на стеле на вершине Ай-Петри в Крыму. Они и сейчас там. И когда мне говорят, что я умру, я улыбаюсь. Я действительно умру и я давно вывел у себя «глисты» тщеславия. Но на воротах Севастополя

и в музее, в одесских катакомбах и на Ай-Петри живут мои стихи. Не потому, что я носил их туда и предлагал. Я вообще никогда не поступал своей гордостью и никогда никого ни о чем не просил. Это не моя заслуга, а моих товарищей, которых я похоронил. Это они заставили меня написать. Потому я и стал поэтом, что хотел стихами воскресить хоть одного человека.

— Григорий Михайлович, вы накануне Дня Победы. Каким вы считаете этот праздник?

— Для меня это самый большой праздник. Он стыдливо как-то проходил всегда, тихо. Сначала мы стыдились немцев, чтобы их не обидеть, не дай Бог. Потом, учитывая, что все члены Политбюро не воевали и большой праздник им был не нужен, в День Победы иногда делали парад — показывали оружие иностранцам.

— А Брежнев — он-то воевал?

— Брежнев только притворялся, что воевал. В основном он ухаживал за девочками из ансамблей. У него были большие брови — красивый шалун, гуляка, начальник политотдела, не более того. Ни на какой Малой земле он не был. Поэтом все ордена, какие не получил на войне, он получил после войны. Но у него было одно достоинство — он плакал. Над всеми солдатскими письмами плакал, над всеми воспоминаниями плакал. Над своими четырьмя Золотыми Звездами плакал...

— Григорий Михайлович, нынешний День Победы приходит, увы, после Первой, омраченного побоем на Ленинском проспекте в Москве. Тревожат воинственные призывы экстремистов Фронта национального спасения. Понятно, что ветераны войны, и сожалению, обижены и нынешней властью. Ясно также, что провокаторы от «Трудовой России» и ФНС приложат все силы, чтобы использовать их обиды и беды в своих провокаторских ирреальных целях. Как этого избежать 9 мая?

— Считаю, что избежать невозможно. Провокация так или иначе будет. Если бы правительством было решительнее и не боялось всяких толков и мнений, то следовало бы вернуть Лукьянова и Крючкова туда, где они и должны находиться, как обвиняемые в государственном преступлении. Нужно бы не бояться — вытащить провокаторов Анпиловых, Константиновых и Зюгановых из их кровати и посадить...

А мы, писатели-фронтовики, обратились к своим товарищам по оружию и предупредили их, что 9 мая ничья кровь не должна пролиться. Мы считаем позором стоять в колоннах вместе со зверем. В их рядах, фронтовики, вы своих товарищей не найдете! Те, кто воевал, знают цену жизни и, верю, не позволят использовать себя провокаторам и подстрекателям в этот праздник — светлый и одновременно горький.

Беседу вел
Ольга СОЛОМОНОВА.

ИЗ ПОЧТЫ «ТРУДА»

Как наш лейтенант немецкий танк угнал...

Главный участник этой необыкновенной фронтовой истории Герой Советского Союза Семен Васильевич Коновалов не дождал, к сожалению, до очередного Дня Победы. Но в его семье, которая живет в Казани, помнят и переказывают при случае историю

И отправился экипаж машины боевой на восток пешком...

Шли несколько суток через хутора и станции, пока у деревни Гундоревка не наткнулись на немецкий танк. Как только увидел его Коновалов, так аж глаза у него засверкали: негоже лихим танкистам на своих двойх топтать — вот ведь будто специально для них карета подана. Задумано — сделано, пока товарищи снимали часовых, лейтенант — к танку. Только взобрался на броню, а из люка

да уж очень раздражала медленная езда, пришлось открыть огонь из орудия прямой наводкой и хорошенько намять бока тяжелым грузовикам... Зато путь был расчищен, и на полном ходу танк с крестами на башне въехал в распоряжение нашей части.

— Фрицы сдаваться пожеловали! Хенде хох, руки вверх! — встретили бойцы вылезавших из люка танкистов.

— Да свои мы, русские, — отвечали, улыбаясь до ушей «фрицы».

лет дроннул, задымил, и я пустился наутек. Пытаюсь оторваться от истребителя, уйти, а он — как приклеился, наел и долбит, долбит. Ну, думаю, «какое». Пытаюсь бросить машину в пике, но русский ас прибавил газу и бросил свой самолет на хвостовое оперение моего «Ю-88». Все загорело, затрещало, и бомбардировщик резко потянуло вниз. Вижу: после тара-на русский истребитель развалился.